

Андрей ПОРТНОВ

УЧЕБНИК ИСТОРИИ ПО ГОСЗАКАЗУ

Эпопея, связанная с государственным заказом на оптимистический и универсальный нарратив российской истории, наконец обрела завершение в восьмидесятистраничной “Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории” – результате коллективного творчества специалистов, привлеченных к выполнению поручения президента Владимира Путина.¹ Самая любопытная часть концепции “единого” учебника – перечень “трудных вопросов истории России”. В него входят: “образование Древнерусского государства”, “существование древнерусской народности”, “роль Ивана Грозного”, “присоединение Украины к России”, “причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований”, оценка падения монархии в 1917 году, национальной политики большевиков, “установления однопартийной диктатуры и единовластия И. В. Сталина”, “цена победы в Великой Отечественной войне”, оценка Хрущева, Брежнева, перестройки и даже “стабилизации экономики и политической системы в 2000-е гг.”. Одним словом, “трудные” вопросы охватывают *все* ключевые проблемы истории России! И по каждому из них авторы концепции предлагают “соотносить наиболее распространенные точки зрения”.²

¹ Текст концепции можно посмотреть здесь: http://rushistory.org/wp-content/uploads/2013/11/2013.10.31-Концепция_финал.pdf.

² Авторский коллектив концепции представлен здесь: <http://rushistory.org/wp-content/uploads/2013/10/Авторы-историко-культурного-стандарта.pdf>. Обсуждение Концепции на заседании Российского исторического общества и комментарии руководителя

Правда, заложенный в этом предложении плюралистический подход противоречит содержанию остальных 79-ти страниц текста, и прежде всего – заявлению на второй странице, согласно которому предложенный стандарт “содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого”. Более того, концепция обещает “исключить возможность возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий” (С. 3). Авторы концепции сравнивают ее с “общественным договором”, предлагающим “взвешенные точки зрения на дискуссионные вопросы” (С. 3). основополагающим принципом этих “взвешенных” и одновременно “принципиальных” оценок провозглашаются “базовые ценности гражданского общества – социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность” (С. 4).

Тем не менее уже к седьмой странице становится ясно, что базовой ценностью концепции является знакомое по советскому прошлому и по путинскому настоящему военно-патриотическое воспитание. Вступительный раздел “Человек в истории”, например, содержит утверждение, что учебник будет способствовать “воспитанию патриотизма и гражданственности” посредством обращения “к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян” (С. 7). В “Общих рекомендациях” главной рекомендацией является “патриотическая основа исторического изложения”. В этом разделе подчеркивается важность формирования “гордости за свою страну” на примере “массового героизма в освободительных войнах” (С. 8).

Каждый раздел стандарта содержит каталог основных тем и стилистических формул, служащих их раскрытию; перечень исторических понятий и терминов; список персоналий (в котором на первом месте всегда государственные и военные деятели, а на последнем – деятели культуры и науки); основные даты и названия исторических источников.

Концепция очевидно стремится угадать нужную заказчице-власти картину прошлого и одновременно удовлетворить разных заинтересованных агентов как во власти, так и в обществе. Основным методом такого угадывания оказывается презентизм, т.е. подход к противоречивой и многообразной истории как к несовершенной иллюстрации современных процессов, моделей коммуникации и культурных стандартов. Растерянность по поводу современного самоопределения России отражается, в частности, в отказе концепции от какого бы то ни было

объяснения понятий “русский” и “российский”, хотя из практики их употребления в тексте создается впечатление, что “российским” было государство, а “русской” – культура. На с. 3 “российская история” определяется как “история всех территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в соответствующие эпохи”. Несколько позже речь заходит о “Российском государстве” как “многонациональной державе, где приобретали опыт мирного сосуществования различные в цивилизационном и конфессиональном плане народы” (С. 20). При этом держава объединяется “русской” культурой. Но термин “русский” иногда используется и как удобная замена слов “украинский” и “белорусский”. Например, о Великом княжестве Литовском концепция сообщает, что это государственное образование “включило в себя значительную часть русских, восточнославянских территорий” (С. 15).

Фигурирует в концепции и “советский народ”, доказательством формирования которого называется “растущее число межнациональных браков”, однако отмечается, что это “не снимало определенной напряженности в межнациональных отношениях” (С. 64). Собственно, “напряженность в межнациональных отношениях” – едва ли не наиболее сложная и взрывоопасная тема истории России. Среди базовых принципов концепции упомянута толерантность “как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории” (С. 5). Однако вопросы “мирного сосуществования народов”, как и история национальных конфликтов, изложены в тексте особенно бледно и осторожно. Фактически их описание (об анализе говорить не приходится) заменено общими фразами, призванными, по-видимому, создать дымовую завесу над минным полем.

Концепция настаивает на рассмотрении истории России “как неотъемлемой части мирового исторического процесса” (С. 4), но этот призыв прочитывается как часть узнаваемой позднесоветской пустой словесной эквилибристики. Мы узнаем, что в XVI веке “Россия двигалась в общем русле исторического развития с рядом европейских стран, в частности Англией, Францией и Испанией” (С. 20); что в XVIII-м веке в стране наступила новая эпоха, что “соответствовало общему направлению развития Европы” (С. 27); а XIX век был временем “перестройки в рамках всего европейского континента”, в том числе в России, где, правда, “специфика эволюции заключалась в том, что на эти процессы накладывалась консервация политического режима самодержавия и отдельных социальных институтов” (С. 35). В XX веке “повсеместно, а не только в России... наблюдалась резкая радикализация общественных настроений

ний” (С. 46). После Второй мировой войны “Советский Союз находился в целом в русле этих общемировых процессов [новых геополитических, экономических, технологических и социальных вызовов –АП], но (в силу консерватизма политических институтов) не смог найти на них адекватного ответа” (С. 63). Подобные фразы-штампы заменяют собой сравнительную контекстуализацию российской истории. С точки зрения предпочтения идеологии современному профессиональному аналитическому подходу характерно отсутствие в тексте концепции таких, например, понятий, как “Магдебургское право”, “Реформация” или “права человека”. Авторы в лучшем случае сообщают, что при Петре I образованные элиты стали “перенимать европейские культурные образцы” (С. 27), реформы Александра II носили “запоздалый по европейским стандартам характер” (С. 36), а “мобилизационная модель экономики” 1930-х гг. “в длительной перспективе мирного развития ... проигрывала соревнование с Западом” (С. 64).

Геополитическая соревновательность явно волнует авторов Концепции гораздо больше, чем те же отсутствующие в тексте “права человека”. Понимание модернизации задается изначально в контексте обсуждения реформ Петра I. Суть модернизации сводится к установлению абсолютной монархии и росту военной мощи государства, что в совокупности позволило решить “исторические задачи”: собрать “почти все наследие Киевской Руси” и получить выход к Черному морю (С. 28). “Историософский” догматизм этой фразы прекрасно иллюстрирует телеологическое мышление в категориях исторических “законов”, “миссий” и “задач”. В этой логике модернизация отождествляется с территориальной экспансией, военной мощью и величием государства. Концепция признает, к примеру, что Российская империя позже других европейских держав отменила крепостное право, зато в то же самое время, в середине XIX века, она “стала одним из ведущих игроков на международной арене” (С. 35). Пусть миллионы пали жертвами коллективизации, массовых репрессий и государственного беззакония, что в терминах концепции осмысливается как советская модернизация, затронувшая все стороны жизни. Зато “были заложены основы для Победы 1945 г., а также для послевоенных достижений в области космических и ядерных технологий и др.” (С. 51).

Подобная логика характеризует концепцию единого учебника в целом: да, в истории России случались политические перегибы и даже трагедии, но главным всегда оставался “пафос созидания” (С. 9). Именно так задается “позитивный настрой в восприятии отечествен-

ной истории” (С. 9)”. Гибель миллионов людей, создание масштабной системы бесправия – все это оказывается вторичным по отношению к позитивным и созидательным целям государственной модернизации.

Авторы концепции, в частности, подчеркивают, что развитие СССР в 1930-е гг. носило “противоречивый характер”. С одной стороны, шла “ускоренная модернизация”, но с другой – “наблюдалось свертывание советской демократии” (С. 52). Неизбежно возникающий вопрос о том, насколько “ускоренная” модернизация в тех условиях была оправдана, необходима и в принципе возможна без того, что концепция осторожно назвала “свертыванием советской демократии”, авторы боязливо опускают. Остается загадкой и то, что имеется в виду под “демократией” в Советском Союзе 1920–начала 1930-х гг. И насколько почти невинное слово “свертывание” адекватно отражает созданную Сталиным систему тотального страха и террора? Более того: неужели в свете провозглашенных авторами во введении “базовых принципов гражданского общества” о преступлениях сталинизма надлежит говорить вот таким сглаженным языком?

Вообще язык будущего единого учебника – отдельная важная тема. Скажем, расстрел польских офицеров в Катюни в концепции назван “трагедией” (словом, несущим печать естественной необратимости), а не государственным преступлением. Авторы текста даже не допускают мысли о том, что государство способно на преступление, в том числе по отношению к собственным гражданам. Катюнская трагедия, Чернобыльская трагедия и другие “трагедии”, по убеждению авторов, “нельзя замалчивать”, но необходимо при этом подчеркивать, что “русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания” (С. 9).

С точки зрения авторов концепции, жизнь миллионов людей, как и жизнь отдельного человека, важны только в связи с историей государства. Собственно человека в предлагаемом стандарте истории нет. Появление в списке ключевых исторических фигур Бориса Гребенщикова или Виктора Цоя, конечно, немного оживляет монотонный нарратив оптимистической истории, но ее имплицитной идеи отнюдь не меняет: человек в этой истории вновь оказывается лишь историческим сырьем, щепкой, средством достижения “исторических задач” и винтиком цивилизационных механизмов. Вместо человека нам предлагают “массовый героизм” (С. 47) и “трудовой подвиг народа” (С. 60).

Количество штампов сгущается в разделе, посвященном Второй мировой войне: “Для Советского Союза эта война стала общенарод-

ной, Отечественной, священной войной на выживание и сохранение своей государственности” (С. 57); “Победа стала ключевым фактором послевоенного могущества страны и превращения СССР в мировую супердержаву” (С. 58). Неудивительно, что темы “могущества” и достижения статуса “супердержавы” подминают под себя любые разговоры об обществе. В тексте концепции сложное, внутренне далеко не однородное советское общество возникает лишь в связи с консолидацией перед лицом внешних угроз. Мобилизованный общественный организм при этом делегирует полноту власти государству. Лишь консолидация общества, по мнению авторов концепции, позволила “отстоять независимость государства” в Смутные годы (с. 21); “Перед лицом нацистской угрозы произошла консолидация общества” (С. 57) и т.д. Продуктивность внутриобщественных дискуссий или социальная самоорганизация ни разу не постулируется как историческая ценность. Для авторов концепции государство, власть – гораздо более живой и антропоморфный феномен, чем население, общество, составляющие его группы и индивидуумы. Это проявляется не только в выборе фокуса рассмотрения прошлого, но и в патетических заявлениях, где субъектом является “страна” или “народ” (после Гражданской войны “страна нашла в себе силы... для стремительного экономического рывка в годы первых пятилеток” (С. 51)). Это предложение – пример мифологического, иррационального пропагандистского штампа, заменяющего собой попытку описания и объяснения того, чем была экономическая и социальная политика большевиков и как ее воспринимали и реализовывали разные группы населения.

История России – это во многом история империи, специфических и далеко не однонаправленных взаимоотношений центра и периферий. Это также история колонизации и колониализма. Поразительно, что в концепции имперского комплекса проблем фактически нет, хотя ее авторы не забыли отметить, что “предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии” (С. 8). Вместо попытки хотя бы обозначить проблемы имперской политической неравномерности, управления разнообразием и функционирования гетерогенного имперского общества авторы концепции выбирают путь однозначных “позитивных” утверждений. Так, они пишут, что при Екатерине II и Павле I в России наблюдалось “укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям” (С. 29-30). При этом возникают закономерные вопросы: а как же ликви-

дация греко-католической (униатской) церкви или создание еврейской черты оседлости? Более того, можно ли вообще однозначно оценивать имперскую политику, ведь в одном случае речь шла о разрешении экономических вопросов, в другом – о конфессиональной нетерпимости, в третьем – об управлении конкретной территорией и т.д. В этой связи характерно формальное упоминание в Концепции разделов Речи Посполитой, которые представлены как обыденное и вполне самодостаточное явление, не нуждающееся в интерпретации. Ни слова не говорится о том, что разделы означали для населения этого барочного государства и какую роль они сыграли в перспективе для польского и российского/русского национальных проектов.

В целом, за лаконичностью и формальностью упоминаний о национальных движениях проглядывает страх касаться этой темы. Во введении к концепции однозначно отмечается: “Следует подчеркнуть, что присоединение к России... имело положительное значение для народов нашей страны” (С. 9). Но ведь историю “присоединений” придется так или иначе подробно освещать в школьном курсе истории, и такие глухие формулы концепции, как, например, “национальный фактор в Гражданской войне” (С. 48), потребуют расшифровки. Подобные формулировки явно не помогут достичь одной из провозглашенных во введении целей учебника – формирование “способности школьников к межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные особенности” (С. 8).

На самом деле воспитание у школьников способности к размышлениям о вариациях исторического выбора, о многомерности исторического процесса, об исторических развилках авторов концепции беспокоит меньше всего. “Присоединение Новгорода и Твери” (С. 18) в концепции – лишь констатация, но не повод для аналитического рассуждения. Пресловутые “взвешенность” и “принципиальность” нарратива концепции оказываются синонимами бессодержательности и проявлением страха интерпретации. Исторические события образуют какой-то постмодерный коллаж. “МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, “челюскинцы”, враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в Европе, советско-германский договор о ненападении” – это перечень исторических понятий на с. 55. В концепции, как ни парадоксально это звучит, отсутствует историческая концепция

или аналитическая задача, которая бы придавала смысл приведенному перечню. Только оптимистическая государственническая идеология подсказывает его “единую” и “принципиальную” интерпретацию.

* * *

Еще 28 марта 2013 года Комитет гражданских инициатив выступил с заявлением об опасности самой идеи “единого” общенационального учебника. Вскоре появилось письмо ряда российских историков о принципах преподавания истории, наиболее важный посыл которого состоял в необходимости формирования у школьников навыков исторической критики и оценки исторического опыта, а не просто механического запоминания дат и усвоения “единого” взгляда на прошлое (<http://komitetgi.ru/news/news/694/#.UoKsQidi1o5>). Поскольку замысел единого учебника уже трансформировался в проект единой концепции, ее можно воспринимать как ответ на критику и попытку задать обязательную рамку для будущего историописания в стране. Эта рамка выявляет государство как основного агента истории.

Название данного эссе, “Учебник истории по госзаказу”, предполагает возможность ироничного или уничижительного прочтения. На постсоветском пространстве “госзаказ” автоматически вызывает ассоциации с коррупцией, подбострастием и ложью, а вмешательство государства в науку и культуру, особенно в гуманитарную сферу, обязательно ассоциируется с цензурой и принуждением. Постсоветский опыт, и не только в России, не раз доказывал правильность подобных ожиданий. При этом комплементарные по отношению к “западной” традиции исследования образования зачастую не отражают ту принципиальную роль, которую государство играет в исторической политике таких стран, как, например, Германия, Франция или США. Другое дело, что методы и сам язык этой политики существенно отличаются от все еще (или вновь?) советизированной постсоветской стилистики. Однако гораздо важнее здесь другое отличие: и немецкое, и американское преподавание истории – это плюрализм в рамках очень жестко очерченного консенсуса, за пределами которого лежит зона однозначных оценок и даже запретов. Принципиальная же проблема многих постсоветских стран – в отсутствии (случай Украины) или размытости (случай России) консенсуса по поводу базовых ценностей и исторических оценок. Что важнее: уважение к человеческой личности или массовый героизм народа? Каковы настоящее и будущее России: соревновательная демократия или авторитаризм с амбициями супердержавы?

В современную эпоху, которую многие слишком поспешно и наивно окрестили транс(пост)национальной, школьное образование по-прежнему остается национальным и ориентированным на формирование гражданина. Во многом это достигается за счет сложности и вариативности исторического изложения. Но здесь важно понимать, какую гражданственность и какими средствами то или иное государство стремится построить. Именно наличие проекта гражданственности делает невозможным “невинное” соседство в учебнике таких феноменов 1938 года, как “пик массовых политических репрессий” и учреждение звания “Герой Социалистического Труда” (С. 56). Ориентация на определенную модель гражданственности задает четкий вектор интерпретации, при котором сознательный уход от сложности изложения не ведет в неопределенность и тотальный релятивизм и не является топтанием на месте.

SUMMARY

Andriy Portnov analyzes the recently published eighty-page *Conception of the New Teaching-Methodical Complex in Russian History* – the result of collective effort of Russian historians to produce a new mandatory history textbook on the request of President Vladimir Putin. Portnov argues that *Conception* lacks any conceptual vision of Russian history because of the fundamental opportunism of the authors in trying to avoid the most problematic episodes of the past and in failing to pursue any coherent civic agenda. The much-discussed politicization of the very project of a new mandatory history textbook is limited to the superficial statist ideology, which by itself cannot formulate and pursue any meaningful political agenda.